

Иван Шмелев



ЛЕТО
ГОСПОДНЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЧУДЕСА

Православные чудеса (АСТ)

Иван Шмелев
Лето Господне

«Издательство АСТ»

1934-1944

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Шмелев И. С.

Лето Господне / И. С. Шмелев — «Издательство АСТ»,
1934-1944 — (Православные чудеса (АСТ))

ISBN 978-5-17-107544-6

В замечательной книге Ивана Шмелева «Лето Господне» перед читателем предстает увиденный глазами ребенка старый московский быт, раскрывается мир русского человека, жизнь которого проникнута православным духом и согрета христианской верой. «Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой. В произведении чрезвычайно полно и глубоко воссоздан церковно-религиозный пласт народной жизни. Смысл и красота православных праздников, обрядов, обычаев, остающихся неизменными из века в век, раскрыт настолько ярко и талантливо, что роман стал подлинной энциклопедией жизни русского православного человека.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-107544-6

© Шмелев И. С., 1934-1944
© Издательство АСТ, 1934-1944

Содержание

Праздники	6
Великий Пост	6
Чистый Понедельник	6
Ефимоны	11
Мартовская капель	15
Постный рынок	18
Благовещенье	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Иван Шмелев Лето Господне

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

А.С. Пушкин

*Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю.
Автор*

Серия «Православные чудеса»
Выпуск 1

Оформление обложки *Натальи Байдаковой*

Праздники

Великий Пост

Чистый Понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – «филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал, – «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

– Вставай, милоч, не нежся... – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост – отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» – заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, – чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное надедут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».

– А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?

– А, грехи... – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай – «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

* * *

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстаётся с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет – «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

– Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожидаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. – поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни... по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина, – «Красавица на пиру», – закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками, – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры,

с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на Постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна – Б о г.

* * *

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», – и притаиваюсь за дверью. Я вижу в шелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, – злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. – И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

– Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... – докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

– Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антитресу. К ночи пьяные навалились, – катать! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

– А ты, трезвый?

– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали, и с кульками... Очень я им пондравился...

– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

– Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу – Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас

всех побило... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий Пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

– Антошка с Глухим как, лежат?

– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

– Ступай... – упавшим голосом говорит отец. – Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прошение просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, – я вижу его нахмуренные брови, – считает, деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почекивают медяки и – звонко – серебро.

– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, – «от угара». Плотники, сходявшие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

– ...и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... – и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

– Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!...»

А часики, в тишине, – чи-чи-чи...

Я тихо сижу и слушаю.

* * *

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, – я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь-Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.

– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь-Василича.

– Василь-Василич! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. – Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону, и строго, Василь-Василич. – Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

– А ты не сердчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

– А так, что вчера ломались на горы, масляная... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Вот у меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь-Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь-Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь-Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь-Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь-Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

– Нечего проклажаться! Эй, робята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвоят – некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь-Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

– Постишься, Вася? – посмеиваясь, говорит Горкин. – Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинki-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой.

Начинают печально благовестить – помни... по-мни... – к ефимонам.

– Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

– Василь-Василич... зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий блавест, Горкин мне говорит взволнованно, – дрожит у него голос:

– Так и поступиай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... печи. Василь-Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нют...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий блавест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... – я и теперь его слышу в сердце.

Ефимоны

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой-старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

– Горкин, – спрашиваю его, – а почему стояния?

– Стоять надо, – говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. – Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому – их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют – ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

– Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», – это я выучил в молитвах. И еще – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще – радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целому-дрие», – будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там – прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаными ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещение в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, – много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны.

И кругом уже все – такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва халвой, – совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

– Горкин, а вороны преставятся на Страшном Суде?

Он говорит – это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

– Пожалуй что и вся тварь воскреснет... – задумчиво говорит Горкин. – А за что же судить! Она – тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг – воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный,

а белые полове его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

– Хозяин выгнал за безобразие! – говорит Горкину половой. – Дни строгие, а он с масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

– За шары подавай!.. – кричит парень ужасными словами.

– Извошки спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... – кричат полове вслед.

– Пойдем уж... грехи с этим народом! – вздыхает Горкин, таща меня. – А хорошо, строго стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!..

И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят коробка сметка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусовых пахнет грибными шами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлоппают-бултыхают жестянки-маслососы, – пошла работа! Стелется вязкий дух, – теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

– Постой-ка, – приостанавливается Горкин на площади, – никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румянький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, – неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, – постукивают в них кости.

– Жирнову, что ли? – спрашивает у народа Горкин.

– Ему-покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он – как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку, – через реденький коленкор сквозится сено, – жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлоппают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает – по-мни... по-мни...

– В Писании-то как верно – «человек, яко трава»... – говорит сокрушенно Горкин. – Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь-Василич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие

его рассказывали, свои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж там...

* * *

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

– Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, – ласково просит Горкин, – «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.

– Ладно, поворчу... – хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. – В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напomini старосте... – хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. – С прошлого года вашу кулебячку помню.

– Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

– А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева – трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот – «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стучается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —

По-мо-щник и по-кро-ви-тель

Бысть мне во спасе-ние...

Сей мо-ой Бо-ог...

И начались ефимоны, стояние.

Я слушаю страшные слова: – «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душе-блудница... во тьме остави мя, окаянного!..»

Помилуй мя, Бо-же— поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в

Чистый Понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки... «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, – и падаю на колени, в страхе.

Душе мо-я... ду-ше-е мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа... аа-ется...

Господи, приближается – мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь – и вижу отца. Он стоит у Распятая. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг, ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь-Васнлич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а т а м воскресли!» – молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои – в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками... На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай... „Господи Сил“... И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой —

Го-споди Си-ил
Поми-луй на-а... а... ас!

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот, начинает, воздыхающим голосом:

Господи и Владыко живота моего...

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я – ровно двенадцать раз: Боже, очисти мя, грешного... И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящичке, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятая теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» – думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. – Непременно воскреснут! А это... только на время страшно...»

Дремлет моя душа, устала...

– Крестись, и пойдем... – пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. – Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.

Уже совсем темно, но фонари еще не горят, – так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, – к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом; только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза; там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?.. Да нет, не надо...

– Глянь-ко, опять мотается! – весело говорит Горкин. – Он самый, у бассейны-то!..

У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.

– Никак все с шарами не развяжется!.. – смеются люди.

– Это я-та не развяжусь?! – встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. – Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..

Треснуло, – и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.

– Вот и развязался! Завтра грибами заторгую... а теперь чай к Митреву пойдем пить... шабаш!..

– Вот и очистился... ай да парень! – смеется Горкин. – Все грехи на небо полетели.

И я думаю, что парень – молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, – первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стучают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче...

– Нет, не галки это, – говорит, прислушиваясь, Горкин, – грачи летят. По гомону их знаю... самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..

У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.

– Эй, Мураша... давай-ко ты нам с ним горячих вязочку... с пылу, с жару, на грош пару! Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.

– С Великим Постом, кушайте, сударь, на здоровьице... самое наше постное угощенье – бараночки-с.

Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.

Мартовская капель

...кап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...

Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко – это весеннее, обещающее – кап-кап... Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель:

Под сосенкой – кап-кап...

Под елочкой – кап-кап...

Прилетели грачи, – теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками – пескариков, налимов, – принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят; возьмется дружно – поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.

В тревожно-радостном полусне слышу я это, все торопящееся – кап-кап – радостнее за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.

...кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...

Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.

Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль – «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кровати сняли, когда я спал, – в доме большая стирка, великопостная, – окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон

как капель играет... – тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где – все говорят – как праздник.

Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотники. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба Ангелы, – я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!

На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырьки-глазочки видны и пятнышки... и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики, и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно – шары! – это мои шары гуляют: вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, – ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички, – я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как Ангелы.

А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои... Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождалась, – это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, – самые веселые обои. И пушечка моя, как золотая... и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..

И шум за окном, особенный.

Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот... – не набивают ли погребца? Глухо доходит через стекла голос Василь-Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:

– Эй, смотри у меня, робята... к обеду чтобы!..

Слышен и голос Горкина, как комарик:

– Снежком-то, снежком... поддолблявай!

Да, набивают погребца, спешат. Лед все вчера возили.

Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, – весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце – зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки... Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:

– Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..

Летят голубые глыбы, стучаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.

– Порожняки, отъезжай... черти!.. – кричит Василь-Василич, попрыгивая по глыбам. – Стой... который?.. Сорок семей, давай!..

Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь, как спешит капель – барабанит, как ливень дробный. А Василь-Василич совсем по-летнему – в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу – рекою пахнет, живой рекою!..

В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь-Василичем, и вдруг – толкает. Василь-Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами, – летит и пушится снег, залепляет Василь-Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозитя, хватая комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеваться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку... но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются... – и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:

– Ну, будет баловаться... Поживей-поживей, ребята... к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!

С крыши ему кричат:

– Нам не под нос, а в самый бы роток попало! Ну-ка, робят, уважим хозяину, для весны!
...И мы хо-зяину ува-жим,
Ро-бо-теночкой до-ка-жим...

Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:

– Ну, не время теперь, ребята... пост!

– Огурчики да копустку охочи трескать, в без песни поспеете! – поокивает Василь-Василич.

Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, сказываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень – на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.

– Гляди... там!.. – кричат где-то, над головой.

Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, – и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдаёт мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю-любуюсь: совсем метель, даже не видно солнца, – такая радость!

* * *

К обеду – ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшись с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, – словно снежком хрустят. Хоть и Великий Пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.

– Горы какие были... а все упрятали!

Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке: Василиса-Премудрая сказала.

Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда – весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, – кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.

По завейанному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают присыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает

копиться лужа – верный зачин весны. Ждут ее – не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь-Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:

– Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..

– И не трожь ее лучше, Вася... – советует и Горкин. – Спокон веку она живет. Так уж тут ей положено. Кто ее знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...

Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.

– И до нас была, Господь с ней... оставь.

А Василь-Василич все думает. Ходит и крикает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Подпрыгивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весенней теплой кислотцою... Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согрешивших штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, – от спокойного старого двора.

– Была как – пушай и будет так! – решает Василь-Василич. – Так и скажу хозяину.

– Понятно: так и скажи: пушай ее остается так.

Подпрыгивают и утки, радостные, – так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой – кап-кап-кап... И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне – так-так. И безмятежно отстукивает сердце – так-так...

Постный рынок

Велено запрягать Кривую, едем па Постный рынок. Кривую запрягают редко, она уже на спокойное, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают и которой теперь – «только для хлебушка», рассказывал мне, как уважают Кривую лошади: «ведешь мимо ее денника, всегда посуются-фыркнут! поклончик скажут... а расшумятся если, она стукнет ногой – тише, мол! и все и затихнут». Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо: смотрит все на кого-то, а никого не видно.

Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу – на Болото за яблочками на Спаса, или по первопутке – снежком порадовать, или – на Постный рынок. Антип не соглашается отпускать, говорит – тяжела дорога, подседы еще набьет от грязи, да чего она там не видала... Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо, в всякий уж год ездит на Постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться, а Чалого закладывать нельзя – закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и легкую сбрую, на фланелье. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая с проседью; по раздутому брюху – толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «там его Антон на руки возьмет, встретит... а то еще задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат – «теперь, рысаки, держись!».

А Антип все не отпускает: – Ты, Михаила Панкратыч, уж не неволь ее, она знает. Где пристанет – уж не неволь, оглядится – сама пойдет, не неволь уж. Ну, час вам добрый.

Едем, постукивая на зарубках, – трах-трах. Кривая идет ходко, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «и в зубы не гляди, а гляди в хвост: коли репица ежом – не вытянет гужом, за два-десять годков клади!» Лавочки

кричат – «станция-Петушки!». Как раз Кривая и останавливается, у самого Митриева трактира: уж так привыкла. Оглядится – сама пойдет, нельзя неволить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают в лед ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет, Кривая идет ходчей. Горкин доволен – денек-то Господь послал! – и припеваает даже:

Едет Ваня из Рязани,
Полтора ста рублей сани,
Семисотельный конь,
С позолоченной дугой!

На Кривую подмигивает, смеется.

Кабы мне таку дугу,
Да купить-то невмогу,
Кину-брошу вожжи врозь —
Э-коя досада!

У Канавы опять станция – Петушки: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая-Чудотворца, у Каменного Моста: прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, – будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, еще бескрестный, – великий Храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.

– Стропила наши, под кумполом-то, – говорит к Храму Горкин, – нашей работки тут!.. Государю Александре Миколаичу, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку приставлял, со всей ортелью! Я те расскажу потом, чего наш Мартын-плотник уделал, себя Государю доказал... до самой до смерти, покойник, помнил. Во всех мы дворцах работали, и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все соборы собрались, Святители-Чудотворцы... Спас-на-Бору, Иван Великий, Золота Решетка... А башни-то каки, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит. И довеку будет. Крестись.

На середине моста Кривая опять становится.

– Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы. Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам все понятие... все соборы покажу, и Честное-Древо, и Христов Гвоздь, все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-Колокола покажу, и Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-Град прислал. Самое наше святое место, святыня самая.

Весь Кремль – золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там – Святое, и нет никого людей. Стены с башнями – чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо.

Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют – священным светом. Все – в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном. ...

Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дынные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов... – были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, – я знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат... – все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны... – все мнится былью, моей былью... – будто во сне забытом.

Мы смотрим с моста. И Кривая смотрит – или дремлет? Я слышу окрик, – «ай примерзли?» – узнаю Чалого, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где, под самым Кремлем несутся, по ухабам! Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин?.. Будочник кричит – «чего заснули?» – знакомый Горкину. Он старый, добрый. Спрашивает-шутит:

– Годков сто будет? Где вы такую раскопали, старей Москва-реки?

Горкин просит:

– И не наши лучше, а то и до вечера не стронет! Подходят люди: чего случилось? Смеются: «помирать, было, собралась, да бутушника боится!» Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает – не Желает. Говорят – «за польцимейстером надо посылать!».

– Ладно, смейся... – начинает сердиться Горкин, – она поумней тебя, себя знает.

Кривая трогается. Смеются: «гляди, воскресла!..»

– Ладно, смейся. Зато за ней никакой заботы... поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди – домой помчит... ветру не угнаться!

Едем под Кремлем, крепкой еще дорогой, зимней. Зубцы и щели... и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним Святители, Москву хранили. Старые Цари в Архангельском Соборе почивают, в подгробницах, Писано в старых книгах – «воздвигнется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», – рассказывал мне Горкин.

– А это – Башня Тайницкая, с подкопом. С нее пушки палят, в Крещение, когда на Ердань ходят.

* * *

Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом. Доносит гул. Черно, – до Устьинского Моста, дальше.

Горкин ставит Кривую, закатывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица – живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом, широком полушубке.

– На руки тебя приму, а то задавят, – говорит Антон, садясь на корточки, – папашенька распорядился. Легкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею... Лучше всех увидишь.

Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. Пахнет от Антона полушубком, баней и... пробками. Он напирает, и все дают дорогу; за нами Горкин. Кричат: «ты, махонький, потише! колокольне деверь!» А Антон шагает – эй, подайся!

Какой же великий торг!

Широкие плетушки на санях, – все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные кораба и в ведра, тащат на головах.

– Самопервеющая клюква! Архангельская клюкыва!..

– Клю-ква... – говорит Антон, – а по-нашему и вовсе журавиха.

И синяя морошка, и черника – на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!

– Вот он, горох, гляди... хороший горох, мытый. Розовый, желтый, в санях, мешками.

Горошники – народ веселый, свои, ростовцы. У Горкина тут знакомцы. «А, наше вашим... за пуколкой?» – «Пост, надоть повеселить робят-то... Серячок почем положишь?» – «Почем почемкую – потом и потомкаешь!» – «Что больно несговорчив, боготеешь?» Горкин

прикидывает в горсти, кидает в рот. – «Ссыпай три меры». Белые мешки, с зеленым, – для ветчины, на Пасху. – «В Англию торгуем... с тебя дешевле».

А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают – не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не надо.

Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, – «как сахар!». Откусишь – щелкнет.

А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырьками; хрустит мне в ухо, дышит огурцом.

– Весело у нас, постом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили. Так, что ль?.. – жмет он меня под ножкой.

А вот вороха морковки – на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарная, как арбуз. Кадки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой.

– Редька-то, гляди, Панкратыч... чисто боровки! Хлебца с такой умнешь!

– И две умнешь, – смеется Горкин, забирая редьки. А вон – соленье; антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках... Квас всякий – хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний – с имбирем...

– Сбитню кому, горячего сбитню, угощу?..

– А сбитню хочешь? А, пропьем с тобой семитку. Ну-ка, нацеди.

Пьем сбитень, обжигает.

– Постные блинчики, с лучком! Грещ-щневые-луковые блинчики!

Дымятся луком на дощечках, в стопках.

– Великопостные самые... сах-харные пышки, пышки!..

– Грешники-черепенники горя-чи, горячи греш-нички!..

Противни киселей – ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки... калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с солью и маком... переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки... хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный...

Везде – баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздьями. Роятся голуби в баранках, выклеывают серединки, склеывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.

– Во, пост-то!.. – весело кричит Мураша. – Пошла бараночка, семьей возок гоню!

– Сбитню, с бараночками... сбитню, угощу кого...

Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.

– Ешь, Москва, не жалко!..

А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. Малиновый, золотистый, – показывает Горкин, – этот называется печатный, энтот – стеклый, спускной... а который темный – с гречишки, а то господский светлый, липнячок-подсед. Липонки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усом стекает, губы у меня залипли. Будочник гребет баранкой, диакон – сайкой. Пробуй, не жалко! Пахнет от Антона медом, огурцом.

Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот – варенье. А там – стопками ледяных тарелок – великопостный сахар, похожий на лед зеленый, и розовый, и красный, и лимонный. А вон, чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки с елоч-

ками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила... и пряники, пряники – нет конца.

– На тебе постную овечку, – сует мне беленький пряник Горкин.

А вот и масло. На солнце бутылки – золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное... Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.

Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах, – милое мое Замоскворечье.

– А вот, лесная наша говядинка, гриб пошел!

Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торгового поста, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.

Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталу! Грибной елараш, винегретные... Похлебный гриб сборный, ест протопоп соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусовые... Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинские отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчен мелких!..

Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавают белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины...

– Теперь до Устьинского пойдет, – гриб и гриб! Грибами весь свет завалим. Домой пора.

Кривая идет ходчей. Солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.

– Благовестят, к стоянию торопиться надо, – прислушивается Горкин, сдерживая Кривую, – в Кремлю ударили?..

Я слышу благовест, слабый, постный.

– Под горкой, у Константина-Елены. Колоколышко у них старенький... ишь, как плачет!

Слышится мне призывно – по-мни... по-мни... и жалуется как будто.

Стоим на мосту, Кривая опять застряла. От Кремля благовест, вперевод, – другие колокола вступают. И с розовой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у Храма Христа Спасителя, и по реке, подальше, где Малюта Скуратов жил, от Замоскворечья, – благовест: все зовут. Я оглядываюсь на Кремль; золотится Иван Великий, внизу темнее, и глухой – не его ли – колокол томительно посылает – по-мни!..

Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами.

Помню.

Благовещенье

А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет – такой и на Пасху будет. Смотрю на небо – ни звездочки не видно.

Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку – ...«благодатная Мария, Господь с Тобо-ю...». Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник таков великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста – щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «а почему без хвоста?»

– А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет! Это ты не гляди, что замолаживает... это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.

Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если – хорошая погода. Сегодня стучал: поет дощечка! Благовещенье... и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку, – и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски – здравия желаю! А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал – «попробуй, ладно... живой рыбки-то не забудь!». Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, – только как же теперь достать?

– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем... первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещение, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось.

И ни одной-то не видно звездочки!

* * *

Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь-Василич и «водяной» десятник. Говорят о воде: большая вода, беречься надо.

– По-нятно надо, о-пасливо... – поокивает Горкин, трясет бородкой. – Нонче будет из вод вода, кока весна-то! Под Ильинским барочки наши с матерьяльцем, с балочками. Упаси Бог, льдом по-режет... да под Роздорами как разгонит на заверти да в поленовские, с кирпичом, долбанет... – тогда и Краснохолмские наши, и под Симоновом, – все побьет-покорежит!..

Интересно, до страху, слушать.

– В ночь чтобы якорей добавить, дать депешу ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся... – озабоченно говорит отец. – Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещенье... Как, Василь-Василич, скажешь? Не попрдержит?..

– Сорвать – ране трех день, не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь-п-койны-с, морозцем прихватит ночью, посдержит-с, пообождет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красна девка косы не плетет! Наказал Павлуше-десятнику там, в случае угрожать станет, – скакал чтобы во всю мочь, днем ли, ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут перейдем тогда, с мостов забросными якорьками схватим... нам не впервой-с.

– Не должно бы сорвать-с... – говорит и водяной десятник, поглядывая на Василь-Василича. – Канаты свежие, причалы крепкие...

Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает-тянет. Отец спрашивает его: а? как?..

– Снега, большие. Будет напор – сорвет. Барочки наши свежие... коль на бык у Крымского не потрафят – тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшную, в разгоне... Без сноровки никакие канаты не удержат, порвет, как гнилую нитку! Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка, потерлась чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса бы надо, ловчей его нет... на воду шибко дерзкий.

– Дениса-то бы на что лучше! – говорит Василь-Василич и водяной десятник. – Он на дощанике подойдет сбочку, с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы...

– Пьяницу-вора?! Лучше я барки растеряю... матерьял на цепях, не расшвыряет... а его, сукинова сына, не допущу! – стучит кулаком отец.

– Уж как каится-то, Сергей Иваныч... – пробует заступиться Горкин, – ночей не спит. Для праздника такого...

– И Богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, – тычет отец в десятника, – на всех мостах чтобы якоря новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие?..

Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться – ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривеннички посыпались.

– Тсс! – погрозил отец, и все поглядели кверху.

Жавороночек запел!

В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, запел-зажурчал, чуть слышно.

Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.

– Запел!.. А, шельма – Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.

– Да явственно как поет-с, самый наш, настоящий! – всплескивает руками Василь-Василич. – Уж это, прямо, к благополучию. Значит, под самый под праздник, обрадовал-с. К благополучию-с.

– Под самое под Благовещение... точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, – говорит Горкин и крестится.

Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыханье да нежное-нежное журчанье, как в ручейке.

– Выиграл заклад, мошенник! На четвертной со мной побился, – весело говорит отец, – через год к весне запоем. Запел!..

– У Солодовкина без обману, на всю Москву гремит, – радостно говорит и Горкин. – Посулился завтра секрет принести.

– Ну, что Бог даст, а пока ступайте.

Уходят. Жавороночек умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек, должно быть, спит.

– Слышал, чижик? – говорит отец, теребя меня за щеку. – Соловей – это не в диковинку, а вот жавороночка заставить петь, да еще ночью... Ну, удружил, мошенник!

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит ведро, и слышится плеск воды! «Погоди... держи его так, еще убьется...» – слышу я, говорит отец. – «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы...» – слышится голос Горкина. А соловьев купают, и я торопливо одеваюсь.

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в спальне канарейки, в проходной комнате – скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки

живет на покое, весь лысый, чижик, который пищит – «чулки-чулки-паголенки», когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома.

Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, – так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает – не боится, и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и... тюк! – таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли – говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке – ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка жалеет. Увидит – и скажет ласково, как цыпляткам: «ну, ну... шши!» И они тихо уползают.

Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки в форточку: свежие приползут. И вот, я вижу – по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит, – и ставит у ног ведро.

– Имею честь поздравить с праздником! – кричит он по-солдатски, храбро.

– Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарь, ельцы... всю ночь надрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополюю. Прикажете на кухню?

Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится.

– Фунтика на полтора налимчик, за редкость накрыть такого... – дивится Горкин и сам запускает руку. – Да как подлещики-то, гляди-ты, и рака захватил!..

– Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут! – говорит Денис. – На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко, с белью больше, есть и налимчишки на подвар, щуренки, голов-лишки...

Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, – видно, всю ночь ловил.

– Ладно, снеси... – говорит отец: ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. – А за то, помни, вычту! Выдай ему, Панкратыч, на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мошенник! Постой, как с водой?

– Идет льдинка, а главного не видать, можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков осьмнадцать. А так весело, ничего... Теперь не беспокойтесь, уж доглядим.

– Смотри у меня, сегодня не настарайся! – грозит отец.

– Рад стараться, лишь бы не... надорваться! – вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню.

А я дергаю Горкина и шепчу: «это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А налим – прыг из оставленного ведра, и запрыгал по лестнице, – держи его!

Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из Синода! Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, – «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется: «и в ошейнике ходит, а не лает!» Медаль серебряная, «в три пуда». Третья уже медаль, а две – «за хоругви

присланы». Но эта – дороже всех: «за доброусердие ко Храму Божию». Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят: «скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеивается: «вот почетное-то, оно».

У лавки стоит низенький Трифоныч, в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком: прячет он что-то сзади. Я знаю что: сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести, фруктовое монпансье «ландрин». Я даже слышу – новенькой жостью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто:

– Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения, и пожалуйста пальчик, – он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет: – От Трифоныча-Юрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца... – и сунет в руку коробочку.

А во дворе сидит на крыльчке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце, кажется – очень бедный. Но говорит, как важный, и здороваётся с отцом за руку.

– Поздравь Горку нашу, – говорит отец, – дали ему медаль в три пуда!

Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», – говорит.

– У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Принес тебе, Сергей Иванович, тенора-певца-Усатова, из Большого Театра прямо. Слышал ты его у Егорова в Охотном, облюбывал. Сделаем ему лепетицию.

– Идем чай пить с постными пирогами, – говорит отец. – А принес мелочи... записку тебе писал?

Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

– Бери в руку. Держи – не мни... – говорит он строго. – Погоди, а знаешь стих – «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А – «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоеет, улетающая. Пускай!..

Я до того рад, что даже не вижу птичку, – серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу – пырхх... – но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села... – и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь-Василич, очень парадный, в сияющих сапогах – в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину – «ну-ка, продай для воли!». Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «для общего удовольствия пускай!» Василь-Василич по-своему пускает – из пригоршни.

– Все. Одни теперь тенора остались, – говорит Солодовкин, – пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатова посмотрим.

Какого – «господина Усатова»? Отец говорит, что есть такой в театре певец. Усатов, как соловей. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит – шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире... вертится турманок. Это – чистяки Горкина, его «слабость». Где-то он их меняет, прикушает и в свободное время любит возиться на чердаке,

где голубятня. Часто зовет меня, – как праздник! У него есть «монашек», «галочка», «шилохвостый», «kozyрные», «дутики», «путы-ноги», «турманок», «паленый», «бронзовые», «трубачи», – всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков – «по воле». Мы глядим, или, пожалуй, слышим, как «галочка-то забирает», как «турманок винтится». От стаи – белый, снежистый блеск, когда она начинает «накрываться» или «идти вертушкой». Нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину – «галочку подоприм, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает – «старик, сорвешься!». Я вижу и Василь-Василича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат – «с Конной пустили стаю, пушкинские-мясниковы накроют „галочку“!» – «И с Якиманки выпущены, Окопишников сам взялся, держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василь-Василич хватается у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над «галочкой», турманок валится на нее, «головку ей крутит лихо», и «галочка» опять в стае – «освоилась». Мясникова стая пролетает на стороне – «утерлась»! Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится: рад, что прибилась «галочка». Все чистяки на крыше, сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом.

– Дурак старый... голову потерял, убьешься! – кричит отец.

– ...«Галочкаааа»... – слышится мне невнятно. – ... нет другой... турманишка... себя не помнит... сменяю подлеца!..

Лужи и слуховые окна пускают зайчиков: кажется, что и солнце играет с нами, веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!

* * *

Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой – называется «благовещенская», на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, – положена к обеду, а пока – первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-то не распеваются, – может быть, перекормлены? И «Усатов» не хочет петь: «стыдится, пока не обвисится». Юркий и востроносый Солодовкин, похожий на синичку, – так говорит отец, – пьет чай вприкуску, с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню, по всем трактирам первой руки, висят «на прослух» гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже, всякие – и поставленные, и графы, и... Зовут в Санкт-Петербург к министрам, да туда надобно в сюртуке-параде... А, не стоит!

– Желают господа слушать настоящего соловья, есть и с пятнадцатью коленцами... найдем и «глухариную уркотню», пожалуйста в Москву, к Солодовкину! А в Питере я всех охотников знаю – плень-плень да трень-трень, да фитьюканье, а рассыпи тонкой или там перещелка и не проси. Четыре медали за моих да аттестаты. А у Бакастова в Таганке висит мой полноголовый, протодьяконом его кличут... так – скажешь – с ворону будет, а мелеенький, чисто кенарь. Охота моя, а барышей нет. А «Усатов», как Спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами – не развратится. Сурьезный соловей сразу нипочем не распоеется, знайте это за правило, как равно хорошая собака.

Отец говорит ему, что жавороночек-то... запел! Солодовкин делает в себя, глухо, – ага! – но несколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает: «товар по цене, цена – по слову». До Николы бы не запел, деньги назад бы отдал, а жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют, – только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот, мы слышим – звонко журчит из кабинета, будто звенят по стек-

лышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только...

* * *

Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое, – самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным и Василь-Василичем объезжали Москва-реку: порядок, везде – на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотом заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое Благовещенье отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает вскачь. Кричат, бегут... Кричит Горкин, как дребезжит: «робят подымай-буди!» – «Топорики забирай!» – кричат голоса в рабочей. – «Срезало все, как ось!» В зал вбегает на цыпочках Василь-Василич, в красной рубашке без пояса, шипит: «не спят папашенька?» Выбегает отец, в халате, взерошенный, глаза навывкат, кричит небывалым голосом – «Черти!.. седлать Кавказку! всех забирай, что есть... сейчас выйду!..» Василь-Василич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета – «эй, запрягать полки, грузить еще якорей, канатов!» Из кабинета выскакивает испуганный, весь в грязи, водолив Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. «Куда тебя понесло, черта?!» – кричит выбегающий отец, хватая Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних сеней я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок, стоят толпою рабочие, многие босиком; поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним Кавказке, отдает приказания; одни – под Симонов, с Горкиным, другие – под Краснохолмский, с Васильем Косым, третьи, самые крепыши и побойчей, пока с Денисом, под Крымский мост, а позже и он подьедет, забросные якоря метать – подтягивать. И отец проскакал за ворота.

Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки, и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал пять часов, – такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой! – а срезало еще в обедни, и где теперь барки – неизвестно. Полный ледоход от верху, катится вода – за час по четверти. Орут – «эй, топорики-ломики забирай, айда!». Нагружают полки канатами и якорями, – и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы Горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «эй, по две пары чтобы рукавиц... сожжет!»

Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу – жавороночек опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, – под Симоновом где-то...

* * *

Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса, в передней! Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный и зазябший, пьют чай в передней. Василь-Василич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана. У отца на руке повязка – ожгло канатом. Валит из самовара пар, валит и изо ртов, клубами: хлопают кипятки. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко.

– Ты чего, чиж, не спишь? – хватая меня отец и вскидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. – Поймали барочки! Денис-молодчик на все якорьки накиннул и развернул... знаешь Дениса-разбойника, солдата? И Горка наш, старина, и Василь Косой... все! Клянйся им, да ниже!.. Порадовали, чер... молодчики! Сколько, скажешь, давать ребятам, а?

И тормошит-тормошит меня.

– А про себя ни словечка... как овечка... – смеется Горкин. – Денис уж сказывал: «кричит – не поймаете, лешие, всем по шеям накостьляю!» Как уж тут не поймать... Ночь, хорошо, ясная была, месячная.

– Черта за рога вытащим, только бы поддержало было! – посмеивается Василь-Василич. – Не ко времени разговины, да тут уж... без закону. Ведра четыре ребятам надо бы... Пя-ать?!. Ну, Господь сам видал чего было.

Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке, сейчас заведет про паголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василь-Василича уже нет. Отец потирает лоб, потягивается сладко и говорит, зевая:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.